

The image depicts a dark, industrial, and post-apocalyptic environment. In the foreground, a man with short brown hair, wearing a brown leather jacket, is seen from the side, looking down a long, debris-strewn street. The street is littered with rubble, twisted metal, and various discarded items like a can and a bottle. In the distance, another figure in a dark coat is walking away from the viewer down the same path. The buildings on either side are multi-story, heavily industrialized structures with numerous pipes, scaffolds, and balconies, some of which appear damaged or overgrown. The lighting is dim and atmospheric, with some warm yellow light emanating from windows or openings in the buildings, contrasting with the overall cool, blue-grey tones of the scene. The sky is overcast and grey.

Антон Шахматов

**Пациент
ноль**

Антон Шахматов

Пациент ноль

<https://litres.ru/74403293>

SelfPub; 2026

Аннотация

Инженер Михаил Кравцов живёт по шаблону — маршрутка, завод, одинокая квартира. Однажды в его сознание врываются чужие образы: палата, капельница, нечеловеческие руки. Выясняется, что в его предплечье годами скрывался инопланетный ретранслятор, связывающий его с существом, 35 лет пролежавшим в стазисе в заброшенном бункере под Выборгом.

Добравшись до источника, Кравцов узнаёт историю одиночества и катастрофы. Существо не просит освобождения — лишь чтобы его не забыли. Пока ретранслятор разряжается, стирая связь, герой видит и свою жизнь как такой же стазис — только без трубок и мониторов.

Когда сигнал гаснет, Кравцов возвращается в Петербург другим человеком: он больше не слышит чужих голосов, но точно знает — где-то в темноте бункера кто-то дышит, и этот кто-то не один, потому что его помнят.

Содержание

Глава	4
Глава 1. Маршрут	5
Глава 2. Уплотнение	17
Глава 3. Пульс 48	29
Глава 4. Линолеум	36
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Антон Шахматов

Пациент ноль

Глава

Глава 1. Маршрут

Будильник зазвонил в шесть пятнадцать. Кравцов открыл глаза раньше, за секунду до сигнала, — так бывало всегда. Тело знало время лучше любого механизма. Он протянул руку, нажал кнопку, и тишина вернулась — плотная, привычная, как одеяло, которое он откинул одной и той же рукой тем же движением, что и вчера, и позавчера, и все четыреста с лишним понедельников, которые он помнил.

Квартира на четвёртом этаже в Купчино. Однокомнатная, тридцать два квадратных метра, окно на юг. Кравцов встал, и пол под ногами скрипнул — всегда одной и той же доской, третьей от кровати. Он наступал на неё каждый день и каждый день думал: надо починить. Каждый день забывал.

Ванная. Умывальник. Зеркало над раковиной — единственное в квартире. Кравцов посмотрел на себя: лицо обычное, не худое и не полное, нос с лёгкой асимметрией — сломан в семилетнем возрасте, когда свалился с велосипеда, но сросся почти незаметно. Шрам на правой брови, тонкий, белый. Глаза серые, спокойные. Короткие русые волосы, уже с проседью на висках. Сорок два года. Ничего особенного.

Он чистил зубы двумя минутами ровно — выработал привычку после того, как стоматолог сказал, что двух минут достаточно. Три года назад. Достаточно — значит достаточно. Кравцов не любил делать больше, чем нужно. И меньше то-

же.

Кухня. Четыре квадратных метра, окно во двор. Газовая плита, холодильник, стол, один стул. На столе — ничего. В холодильнике — масло, сыр, пакет молока, упаковка пельменей, начатая пачка чая. Кравцов включил чайник, достал хлеб, отрезал два ломтя, намазал маслом, положил сыр. Завтрак занимал семь минут: чай остывал до питьевой температуры, бутерброды съедались в три укуса каждый. Он не читал, не слушал радио, не смотрел в телефон. Просто ел.

Одна чашка на сушилке. Одна тарелка. Одна вилка. Он заметил это не в первый раз, но впервые подумал об этом как о факте, а не как о детали. Одна чашка. Когда-то было две. Ирине нравился чай из больших кружек — она называла их «микки-маусами», потому что в одной, зелёной, был нарисован Микки Маус. Кравцов не помнил, куда делась зелёная кружка. Наверное, Ирина забрала. Или выбросила. Или он выбросил. Четыре года. Не помнит.

Он оделся: серые брюки, белая рубашка, пиджак — всё с вешалки у двери, где висело ровно пять вешалок. Галстук — синий, в полоску, повязывался одним и тем же узлом, который Кравцов научился делать на похоронах отца и с тех пор не менял. Отец умер в семьдесят один, рак лёгкого, быстро. Кравцов поехал на похороны в Тверь, вернулся, завязал галстук на работе — и всё пошло как раньше. Только галстук стал другим. Тот, похоронный, он снял вечером и не помнил, куда дел. Купил новый, синий. Носит с тех пор.

Обувь у двери: ботинки, осенние, прошлогодние. Он надел их, взял пропуск, ключи, телефон — всё с тумбочки у входа, всё на одном и том же месте. Дверь закрылась с щелчком, который он не слышал, потому что слышал его каждый день.

Лифт не работал. Это не удивило. В их доме лифт не работал через день — как будто тоже имел расписание. Кравцов спустился по лестнице, четыре пролёта, и вышел во двор. Сентябрь, Петербург. Воздух сырой, серый, пахнет мокрым асфальтом и листвой, которая начала желтеть, но ещё не опала. Двор пустой — слишком рано для детей, слишком поздно для собак. Только женщина в розовом пальто у мусорных баков — выбирает бутылки. Кравцов прошёл мимо, не глядя. Она — тоже не глядя.

Маршрутка 137 останавливалась на углу проспекта Славы и Бухарестской. Остановка — семь минут пешком. Кравцов шёл, не ускоряясь и не замедляясь. Шаги — ровные, одинаково длинные. Он знал, что от подъезда до остановки шестьсот сорок шагов. Знал, потому что считал однажды, лет пять назад, когда было скучно. С тех пор не считал. Тело шло само.

На остановке — четверо. Двое мужчин в рабочих куртках, женщина с авоськой, парень в капюшоне с наушниками. Кравцов встал последним. Ждали три минуты. Маршрутка подъехала — белая «ГАЗель» с номером маршрута на лобовом стекле, треснувшим стеклом справа и запахом бензина,

который Кравцов любил. Не знал почему. Любил — и всё.

Он сел на заднее сиденье, ближе к окну. Окошко не закрывалось — приоткрыто на два пальца, и в щель тянуло холодным воздухом. Кравцов не стал закрывать. Положил руку на колено, смотрел в окно. Проспект Славы, светофор, поворот на Софийскую, Волковский проспект, мост через Волковку. Серые дома, серое небо, серый асфальт. Петербург в сентябре — один цвет. Кравцов не видел уныния в этом. Уныние — это когда чего-то ждёшь и не получаешь. Кравцов не ждал.

Маршрутка остановилась у завода. «Океанприбор» — серое пятиэтажное здание на берегу Обводного канала, построенное в семидесятых, перестроенное в девяностых, облепленное пристройками в нулевых. На проходной — турникет, охранник, который всех знал и не здоровался. Кравцов приложил пропуск, прошёл, поднялся на третий этаж, в отдел гидроакустики. Кабинет 312 — четыре стола, три компьютера, два чертёжных планшета, окно на канал.

Кравцов был вторым. Первой — **Тамара Савельева**, лаборант из соседней лаборатории материаловедения, которая приходила раньше всех, потому что жила рядом и потому что любила тишину пустого офиса. Она кивнула через открытую дверь. Кравцов кивнул в ответ. Больше они не разговаривали до обеда.

Он сел за стол, включил компьютер, открыл проект. Гидролокатор «Левиатан-М» — новая модель, над которой отдел работал четвёртый месяц. Кравцов отвечал за частотный

блок: генератор, фильтры, согласующий каскад. Работа, которую он мог делать с закрытыми глазами — и иногда делал. Не закрывая глаз, но закрывая что-то другое. Мысли, может быть. Или их отсутствие.

К девяти пришли остальные. **Денис Молодцов** — молодой, двадцать восемь, второй инженер, — сел за соседний стол, бросил рюкзак, достал йогурт. Денис был из тех людей, которые заполняют собой пространство: говорил, двигался, шумел. Кравцов это не раздражало. Наоборот — Денис был единственным в отделе, с кем он разговаривал дольше пяти минут. Не потому что Денис задавал правильные вопросы, а потому что не задавал никаких. Просто говорил. А Кравцов слушал.

— Михал Палыч, — Денис отхлебнул йогурт, — вы на совещание идёте? Сорокин там опять частоты гоняет. Говорит, диапазон надо расширить до сорока килогерц.

— Сорок — не пойдёт, — сказал Кравцов, не отрываясь от экрана.

— Я знаю. Но он не знает. Он экономику конвертит в герцы.

Кравцов почти улыбнулся. «Почти» — это максимум его мимики. Он не был угрюмым. Просто его лицо не знало середины между нейтральным и... он не знал, каким. Радостным? Гневным? Он не проверял давно.

Совещание — в десять, в кабинете начальника отдела. **Виктор Андреевич Сорокин**, пятьдесят три года, боль-

шой, громкий, с усами, которые варились в кофе каждое утро. Сорокин был хорошим инженером двадцать лет назад, потом стал хорошим администратором, потом — просто начальником. Он верил в совещания, в протоколы, в «согласование с заказчиком». Кравцов верил в формулы. Они не спорили — они разговаривали на разных языках, и каждый был уверен, что другой просто не понимает.

— Михаил Палыч, — Сорокин постучал ручкой по столу, — заказчик просит расширить диапазон. Сорок килогерц. Что скажете?

— Скажу, что на сорока килогерцах наш согласующий каскад уходит в нелинейность. Генератор держит, фильтры держат, каскад — нет. Чтобы держал — нужна замена транзисторов на арсенид-галлиевые. Это — другой бюджет. Другой бюджет — другое согласование. Другое согласование — другой срок.

Сорокин смотрел на него с тем выражением, которое у чиновников означает «я тебя услышал, но не понял ни слова».

— А если опустить порог?

— Тогда теряем дальность. На сорока килогерцах затухание в воде — четыре децибела на километр. На нашем текущем пороге — один. Разница в четыре раза. Это не мой каприз, Виктор Андреевич. Это физика.

— Физика — она, конечно, — Сорокин вздохнул, — но и заказчик не резиновый. Давайте так, Михаил Палыч, подготовьте расчёт: что нужно, чтобы сорок держали. Бюджет,

сроки, комплектующие. К пятнице.

— К пятнице, — сказал Кравцов.

Это означало «да». Сорокин кивнул, и совещание пошло дальше — к следующему пункту, который Кравцов не слушал, потому что он уже считал в голове: арсенид-галлиевые транзисторы, цена за штуку, количество, срок поставки. Он всегда считал в голове. Цифры были его родным языком. Гораздо роднее, чем русский.

Обед — в заводской столовой, на первом этаже. Кравцов взял гречку с котлетой, компот. Сел у окна. Денис подсел с подносом — борщ, рис, два куса хлеба. Денис ел много и быстро, как все молодые, кто не завтракает.

— Михал Палыч, а вы на выходные куда? — спросил Денис с набитым ртом.

— Никуда.

— Я к отцу в Приозерск еду. У него дача там. Грибов, говорит, нынче — завались. Может, вам наберу? Вы ведь грибы любите?

— Не помню, — сказал Кравцов. И правда не помнил. Ели он когда-нибудь грибы? Наверное, ел. В детстве. Мама жарила. Или не мама. Кто-то.

— Ну, наберу на всякий случай, — Денис махнул ложкой. — Девушка моя, Лена, она не любит. Говорит, на них слизняки ползают. Я ей объясняю: лес — это природа, в природе всё ползает. Она говорит: тогда пусть ползает без меня.

Денис засмеялся. Кравцов слушал. Он не смеялся — не

потому что не смешно, а потому что смеялся редко и не помнил, как это делается. Не физически — как-то иначе. Как будто смех — это навык, который теряется без практики, как иностранный язык.

После обеда — обратно в кабинет. Кравцов открыл расчётную программу и начал вбивать параметры для нового транзисторного каскада. Работа — простая, механическая, требующая внимания, но не вдохновения. Вдохновение Кравцову не было нужно. Он не проектировал — он рассчитывал. Это разные вещи. Проектирование — это когда ты видишь то, чего нет. Расчёт — это когда ты знаешь, что есть, и проверяешь, сходится ли.

Час, два, три. Экран, клавиатура, цифры. Окно темнело медленно — сентябрьский Петербург уходит в сумерки к пяти, и к шести уже темно. Кравцов не заметил. Он работал, пока Денис не сказал:

— Михал Палыч, шесть. Пора.

Кравцов посмотрел на часы. Семнадцать пятьдесят три. Сохранил файл, выключил компьютер, надел пиджак. Денис ждал у двери.

— Я вас до метро подброшу. Мне по пути.

— Я на маршрутке.

— На маршрутке в это время — стоя. А у меня машина. Поехали.

Кравцов не возражал. Возражать — это решение, а решения после шести вечера давались ему с трудом. Не усталость

— что-то другое. Как будто к вечеру его батарея разряжалась не до нуля, а до какого-то уровня, на котором работали только базовые функции: дышать, идти, отвечать «да» или «нет». Денис это знал и не давал ему выбирать.

Машина Дениса — старая «Лада Гранта», синяя, с царапиной на заднем бампере и запахом ванильного освежителя, который Лена повесила на зеркало. Кравцов сел на переднее, пристегнулся. Денис включил радио — «Ретро FM», «Половинку сердца» — и они поехали по Софийской.

— Михал Палыч, — Денис вывернул на Московский, — вы один живёте, да?

— Да.

— И не скучно?

Кравцов помолчал. Вопрос был простой, но ответ — нет. «Скучно» — это когда хочется чего-то, а нет. Кравцову ничего не хотелось. Это не покой — покой — это когда есть и нет, и ты между. У Кравцова не было «между». Было «есть». Было «нет». И ничего между.

— Нет, — сказал он.

— Правильно, — Денис кивнул, — я бы тоже один жил, если бы не Лена. Она, конечно, чудная, но... ну, знаете. Вдвоём — оно как-то теплее, что ли.

Кравцов не знал. Помнил — кажется, помнил — что вдвоём было теплее. Но это воспоминание было плоским, как фотография. Без температуры. Без запаха. Без звука.

Метро «Бухарестская». Кравцов вышел, поблагодарил,

махнул рукой. Денис уехал. Кравцов спустился, проехал одну станцию до «Витебского вокзала», вышел, пошёл пешком. Был вариант — маршрутка обратно, но вечером он любил ходить. Не «любил» — ходил. Это было движение, которое не требовало решения. Ноги знали дорогу.

Домой — через парк, мимо церкви, по мосту через Волковку. Тёмные деревья, тёмное небо, редкие фонари. Воздух — холоднее, чем утром. Кравцов шёл, и его тень бежала впереди, удлиняясь и сокращаясь в свете фонарей, как живое существо, которое не может решить, куда идти.

Квартира. Тот же скрип доски. Тот же щелчок двери. Кравцов снял ботинки, повесил пиджак, вымыл руки. Открыл холодильник — пельмени. Достал пачку, вскрыл, бросил в кипящую воду. Подождал семь минут — пельмени из магазина варятся семь минут, это написано на пачке, и Кравцов верил упаковкам больше, чем собственному вкусу. Слил воду, добавил масло, сел за стол с единственной тарелкой и единственной вилкой.

Телевизор — старый, плоский, на стене. Единственная вещь на стене. Кравцов включил новости — привычка, не интерес. Ведущий говорил о чём-то — вероятно, о политике, вероятно, о Чукотке, или о выборах, или о погоде. Кравцов не слышал. Он жевал и смотрел в экран, и экран смотрел в него, и между ними не было ничего. Как между ним и миром.

Пельмени кончились. Кравцов вымыл тарелку, поставил на сушилку. Вымыл вилку, поставил рядом. Одна тарелка,

одна вилка, одна чашка. Три предмета на сушилке. Как флаги трёх стран, которые никто не посетит.

Он принял душ — три минуты, тёплой водой, без мыла, просто чтобы смыть день. Лёг в кровать — двуспальную, с одной подушкой. Вторая лежала на шкафу, в чехле, Иринина. Он не выбрасывал её четыре года. Не знал почему. Не думал об этом. Не думал — значит не думал.

Кровать была широкой для одного. Кравцов лежал на правом боку, лицом к стене. Стена — белая, пустая. Ни картины, ни фотографии, ни полки. Просто белая стена, и на ней — тень от фонаря за окном, прямоугольная, медленно движущаяся по мере того, как ночь сдвигает небо.

Он закрыл глаза.

Тишина. Та самая — густая, знакомая, тёплая, как одеяло. В ней — ничего: ни голоса, ни звука, ни мысли. Пустота, которая не давит. Кравцов ценил её — единственное, что он ценил. Не потому что была хорошей, а потому что была честной. Тишина ничего не обещала и ничего не забирала.

Он засыпал. Медленно, как всегда — сначала гасли мысли, потом звуки, потом тело. Сознание сужалось, как диафрагма объектива, и мир уходил за края.

И в тот момент — между сном и бодрствованием, в той щели, где уже нет мыслей, но ещё есть слух, — Кравцов услышал.

Писк.

Ровный, монотонный. Как электронный будильник. Но не

его будильник — другой. Частота другая, не та, что у зумера телефона или таймера плиты. Ниже. Чище. Без обертонов. Один тон, одна нота, которую он не мог определить, потому что не знал нот. Секунда. Может — две.

Потом — тишина. Снова тишина. Та же.

Кравцов открыл глаза. Темно. Тень от фонаря на стене не двигалась. Часы на тумбочке показывали 2:47. Он лежал, смотрел в потолок, ждал. Ничего. Писк не повторился.

Соседи. Квартира слева — пенсионеры, тишина. Квартира справа — молодая пара, иногда громко. Но не в три ночи с понедельника на вторник.

«Электроника», — подумал он. Может, зарядка. Может, детектор дыма — у него был, в коридоре, маленький белый диск на потолке. Кравцов вспомнил, что не менял в нём батарейку... когда? Не помнил. Может, год. Может, два.

Он закрыл глаза. Секунда, может две — и тишина вернулась. Тишина была на месте. Писк — нет. Может, и не было. Может, приснилось. Между сном и бодрствованием — граница, на которой рождаются звуки, которых нет. Это нормально. Все так.

Кравцов заснул.

Глава 2. Уплотнение

Две недели прошли, как поездка в метро: станции мелькают за окном, и ты не помнишь ни одной, но знаешь, что ехал. Кравцов не помнил эти две недели не потому, что они были плохими или хорошими — они были обычными. Теми же, что и предыдущие. Теми же, что и следующие. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — пять остановок, после которых выходишь на своей и идёшь домой. Суббота и воскресенье — перрон, где стоишь и ждёшь. Не поезда — просто стоишь.

Звук не повторялся.

Кравцов не думал о нём. Не в том смысле, что «старался не думать» — а просто не думал. Мысль о пике в 2:47 ночи мелькнула утром следующего дня, когда он менял батарейку в детекторе дыма — маленьком белом диске на потолке коридора, который пищал раз в полгода, когда садилась батарейка, и больше никогда. Кравцов встал на табуретку, выщелкнул старую батарейку, вставил новую — из пачки, которую купил в «Пятёрочке» по дороге с работы. Проверил: нажал кнопку теста — пискнул. Тот ли это звук? Нет. Не тот. Частота выше, тембр резче, как у всех бытовых зуммеров. Тот звук был — чище. Проще. Одна нота без обертонов, как камертон.

Кравцов слез с табуретки. Закрыв пачку с батарейками,

убрал в ящик. Больше не думал.

Звук вернулся в четверг.

Через одиннадцать дней после первого раза. Кравцов лежал в кровати, на правом боку — как обычно. Часы показывали 3:12. Он не спал — просто лежал, как лежал каждую ночь перед сном: без мыслей, без тревог, в той густой тишине, которая для него была сном до сна. И — писк. Тот же. Ровный, монотонный, чистый. Одна нота. Секунда. Две. Три — дольше, чем в первый раз. Потом — тишина.

Кравцов открыл глаза. Темно. Тень от фонаря на стене — не двигалась. Он прислушался. Ничего. Ни гудения холодильника, ни шума труб, ни шагов соседей. Полная тишина — и в ней: ничего. Писк ушёл, как уходят сны: не оставив следа, кроме ощущения, что было.

Он закрыл глаза. Не спал до четырёх. Потом уснул.

Утром — работа. Всё как обычно: подъём, бутерброды, маршрутка, проходная, кабинет 312. Кравцов открыл проект, продолжил расчёт транзисторного каскада. Арсенид-галлиевые транзисторы — дорогие, импортные, срок поставки от шести недель. Он нашёл отечественный аналог — характеристики хуже, но в пределах допуска. Написал Сорокину служебную записку: «Предлагаю рассмотреть отечественный компонент как запасной вариант. Расчёты — во вложении». Сорокин не ответил. Кравцов не ждал ответа. Записки — это ритуал, а не коммуникация.

Денис пришёл к десяти, с двумя чашками кофе — одна

для Кравцова, чёрный, без сахара. Денис знал, как Кравцов пьёт кофе, и не спрашивал. Просто ставил чашку на край стола, и Кравцов брал её через минуту, не глядя, не благодаря. Это был их язык: Денис давал, Кравцов брал. Никаких лишних слов.

— Михал Палыч, — Денис сел, отхлебнул свой кофе (с молоком, с сахаром — Кравцов не понимал, как можно портить кофе, но не осуждал), — я в субботу к отцу еду. В Приозерск. Он там дачу строит. Точнее — не строит, а чинит. Дача была, но крыша рухнула под снегом зимой. Он теперь новую ставит, сам, в шестьдесят два года. Я ему говорю: «Бать, найми бригаду». Он: «Бригада сопьётся, а я трезвый и крепкий». И ведь крепкий, сволочь.

Кравцов слушал. Денис говорил так, как дышал — без усилия, без пауз, без задней мысли. Каждое предложение рождало следующее, и каждое было о нём, о Денисе, о его жизни, которая была полна: девушкой Леной, отцом-дачником, грибами, машиной, йогуртами, капсулами для кофемашины, которые он покупал на маркетплейсе, и разницей во вкусе между эспрессо из «Ленты» и эспрессо с «Озона». Кравцов слушал, и перед ним разворачивалась жизнь — не его жизнь, а жизнь вообще: с её шумом, запахами, выборами, удовольствием и раздражением. Он смотрел на неё, как смотрят на витрину: интересно, но заходить не хочется.

— А вы, Михал Палыч, что в выходные делали?

— Ничего.

— Совсем?

— Совсем.

Денис посмотрел на него — не с жалостью, не с беспокойством, а с тем любопытством, с которым смотрят на животное в зоопарке: интересно, как оно живёт в своей клетке. Кравцов не обижался. Он и сам иногда удивлялся — как это, совсем ничего? Встал, поел, посидел, лёг. Суббота. Встал, поел, посидел, лёг. Воскресенье. Два дня — как один. Как ноль.

Звук вернулся в субботу ночью. Третий раз. И теперь — Кравцов был готов. Не сознательно — тело запомнило. Он проснулся за минуту до звука, как просыпался за минуту до будильника. Лежал в темноте, смотрел в потолок. Ждал.

Писк. Тот же. Чистый, ровный. Но теперь — дольше. Четыре секунды. Пять. И в конце — новая деталь: он не просто пищал. Он *пульсирующе* пищал. Едва заметно — амплитуда чуть росла, чуть падала, росла, падала. Как пульс. Как сердцебиение.

Семь секунд. Потом — тишина.

Кравцов лежал и смотрел в потолок. 3:08. Он не испугался. Страх — это когда что-то угрожает, а этому — чему? Пищит и пищит. Может, проводка. Может, соседский радионяня — у соседей справа родился ребёнок? Нет, он не слышал детского плача. Может, телефон — старый, в ящике тумбочки, с садящейся батареей. У Кравцова было два телефона: рабочий — в кармане, и старый — в ящике, выключенный,

с сим-картой, которую он не пополнял два года.

Он встал, достал из ящика старый телефон, нажал кнопку. Экран не загорелся. Батарея мертва. Не телефон. Кравцов положил его обратно, лёг. Закрыв глаза. Не спал до пяти.

В воскресенье — снова ничего. Утро, бутерброды, чай. Телевизор — новости, которые он не слушал. Прогулка — до «Пятёрочки» и обратно, молоко и хлеб. Дома — сел в кресло у окна. Серый день, серый двор, серое небо. Дети на площадке — визжат, качаются, кидают мяч. Кравцов смотрел на них и думал: он тоже был таким. Наверное. Не помнил. Не помнил себя в семь, в десять, в четырнадцать. Помнил школу — смутно, как коридор без деталей. Помнил отца — большим, тёплым, с табаком от сигарет. Помнил маму — тонкой, тревожной, вечно глядящей его по голове со словами «всё хорошо, всё хорошо». Помнил — и не чувствовал. Воспоминания были, как строки в техническом описании: данные без контекста.

Понедельник. Работа. Сорокин вызвал на совещание — по транзисторному каскаду. Кравцов принёс распечатки, разложил, объяснил. Сорокин кивал, не понимая. В конце сказал: «Хорошо, Михаил Палыч, подготовим коммерческое предложение заказчику. К среде». Кравцов кивнул. К среде — значит к среде.

После совещания — в кабинет. Денис — уже на месте, с пончиком из автомата. Пончик — шоколадный, с посыпкой. Денис ел и рассказывал про Приозерск.

— Батя крышу поставил. Сам. За два дня. Я ему помогал — точнее, мешал. Он говорит: «Давай держи доску». Я держу. Он гвоздь — бабах! — мимо. В доску, но мимо шляпки. Я говорю: «Бать, давай я». Он: «Ты криво держишь». Я: «Ты криво бьёшь». Так и работали.

— Грибы? — спросил Кравцов.

— А! Да! — Денис просиял. — Грибов — завались. Подберёзовики, подосиновики. Один белый нашёл — вот такой! — он показал руками размер грейпфрута. — Лена говорит: «Я есть не буду, на них слизняки». Я говорю: «Лена, это белые грибы, царь грибов, ты понимаешь?» Она: «Царь может ползать и без меня». Не ела. Я сам пожарил. С картошкой. Михал Палыч, я вам набрал — в пакет положил, в холодильнике у меня. Возьмёте?

Кравцов помолчал. Грибы. Он не помнил, ел ли он когда-нибудь грибы. Жареные, с картошкой. Наверное, да. В детстве, у бабушки... У него была бабушка? Была. В Карелии? Он не помнил. Слово «Карелия» мелькнуло и погасло, как спичка, которую чиркнули и не зажгли.

— Не надо, — сказал он.

— Ну, как хотите, — Денис откусил пончик. — Между прочим, вы упускаете. Белый гриб, жареный с картошкой — это... это как... ну, как когда схема с первого раза работает. Понимаете?

Кравцов почти улыбнулся. «Почти» — тот же максимум. Но Денис заметил и обрадовался.

— О, Михал Палыч, вы сегодня почти человек! — он засмеялся. — Может, после работы зайдём куда-нибудь? Пинта? Пинта тёмного?

— Не могу.

— Ну, я и не надеялся. Но предлагаю. Регулярно. Вдруг однажды согласитесь.

Кравцов не ответил. Он смотрел в экран, где расчёт каскада сходилась — фаза устойчивая, коэффициент усиления в допуске, нелинейность на пороге. Цифры — ровные, честные. Они не плакали в три часа ночи.

Вечером Денис подвозил до метро, как обычно. «Гранта» с ванильным освежителем и радио, которое играло что-то из восьмидесятых. Денис рассказывал про Лену: она хотела кота, он не хотел, потому что аллергия, но не признавался, потому что «кот — это ответственность, а я и за фикус не уверен». Кравцов слушал. Мимо проплывал Петербург — фонари, витрины, люди на остановках, дождь, начавшийся мелко и упрямо, как нечто, что не собирается заканчиваться.

— Михал Палыч, — Денис затормозил у метро, — вы бы хоть раз поехали со мной в Приозерск. Природа, тишина, озеро. Вам бы понравилось.

— Мне и здесь тихо.

— Это не та тишина, — Денис посмотрел на него серьёзно. — Городская тишина — это когда шум вокруг, а ты его не слышишь. А настоящая — это когда шума нет. Вовсе. Ни машин, ни людей. Только ветер и вода. Другое дело.

Кравцов вышел из машины, поблагодарил. Денис уехал. Дождь — мелкий, холодный — оседал на пиджаке, не впитываясь. Кравцов шёл домой и думал о тишине. О двух видах тишины. Он знал только одну — городскую. Ту, в которой он жил. Ту, которая ничего не обещала и ничего не спрашивала. Была ли другая? Он не знал. И не было интересно. Не было — до этого момента. Теперь — чуть-чуть. Как щель, в которую проникает свет.

Дома. Пельмени. Телевизор. Душ.

В душе Кравцов мылся так же, как ел — механически, без задержки, без удовольствия. Тёплая вода, три минуты. Гель — из дозатора на стене, который он пополнял раз в месяц. Мочалка — новая, купил на прошлой неделе, потому что старая стала жёсткой. Он намылил левую руку, провёл от плеча к кисти — и остановился.

Уплотнение.

На левом предплечье, с внутренней стороны, примерно посередине между локтем и запястьем. Маленькое — с рисовое зерно. Глубоко — не под кожей, а в мышце. Кравцов нажал — не больно. Плотное, с чёткими краями, не смещается. Он провёл пальцем ещё раз, медленно. Точно — есть. Что-то твёрдое, округлое, размером с рисовое зерно, в толще мышцы.

Кравцов вышел из душа, встал перед зеркалом. Посмотрел на предплечье — ничего не видно. Кожа ровная, без покраснения, без swelling. Он потрогал снова — есть. Твёрдое,

гладкое, глубоко. Жировик? Кравцов слышал про жировики — мягкие, подвижные, безболезненные. Это — не мягкое. Это — твёрдое. Но тоже безболезненное. И не двигается.

Когда оно появилось? Кравцов не знал. Он не осматривал себя — не было привычки. Он мылся на автомате, не глядя. Могло быть месяц. Могло — год. Могло — всегда. Он не помнил своё предплечье таким, чтобы в нём *что-то было*. Но и не помнил, чтобы его *не было*. Просто не думал.

«Жировик», — решил он. Или кальцинат. Или ещё что-то, что не болит и не мешает. Кравцов не был мнительным. Мнительность — это когда боишься того, чего не понимаешь. Кравцов не боялся. Он не понимал — но и не боялся. Просто зафиксировал: есть уплотнение. Не болит. Если заболит — пойдёт к врачу. Не заболит — забудет.

Он вытерся, надел пижаму, лёг. Кровать, подушка, стена. Тень от фонаря.

Кравцов закрыл глаза. Тишина. Городская — та, в которой шум вокруг, а ты его не слышишь. Денис сказал: есть другая. Когда шума нет вовсе. Кравцов не верил. Тишина — она везде одинаковая. Пустота, которая ничего не обещает.

Он лежал и слушал. Слушал — не потому что ждал. Просто — слушал. Впервые за... он не помнил, за сколько. Он слушал тишину, как слушают радио: не выбирая, не включая, просто — фоном. И в тишине — ничего. Гудение холодильника — далёкое, ровное. Шум труб — глухой, где-то в стене. Дыхание — своё, ровное, двенадцать вдохов в минуту.

Всё остальное — пустота.

Писк не пришёл.

Кравцов лежал в темноте и слушал. И в какой-то момент понял, что делает то, чего не делал никогда: он *ждёт*. Не сна — он всегда ждал сна, и сон приходил, как маршрутка, по расписанию. Он ждёт звука. Того писка, который был трижды. Того, который пульсирует, как сердцебиение. Того, который приходит между сном и бодрствованием, в щели, где рождается то, чего нет.

Он ждёт.

Это не страх. Кравцов знал страх — когда отец умирал, когда Ирина собирала вещи, когда на заводе коротнуло щит и он стоял перед искрящим рубильником. Страх — это сжатие, холод, ускорение. Сейчас — другое. Лёгкое, незнакомое, как мышца, которую никогда не использовал и вдруг обнаружил. Она не болит. Она просто — есть. И он не знает, как её назвать.

Любопытство.

Кравцов не был любопытным. Любопытство — это когда хочешь знать, что там, за дверью. Кравцов никогда не хотел. Двери были — он проходил мимо. Что за ними — его не касалось. Он знал своё: квартиру, завод, маршрутку, пельмени, тишину. Этого хватало. Этого было достаточно. Достаточно — значит достаточно.

Но сейчас — в темноте, в тишине, с уплотнением в левом предплечье, которое он нашёл час назад и уже должен был

забыть, но не забыл — он хочет. Хочет, чтобы писк вернулся. Хочет услышать его снова. Не потому что звук приятный — он ничего не вызывает. А потому что — впервые за годы — в его тишине появилось что-то чужое. Что-то, что не он. И это «что-то» — интереснее, чем всё, что было.

Кравцов лежал и ждал. Часы показывали 2:30. Потом 3:00. Потом 3:30. Писк не пришёл.

В 3:47 он заснул. Не от усталости — от разочарования. Тихого, незаметного, как всё в его жизни. Разочарования, которое он не назвал бы этим словом, потому что не знал, как оно называется. Но оно было. Как уплотнение в руке — не болит, не мешает, просто — есть.

Утро понедельника. Будильник в 6:15. Кравцов открыл глаза раньше — за секунду до сигнала. Как всегда. Ничего не изменилось. Всё то же: квартира, Купчино, проспект Славы, маршрутка 137, завод «Океанприбор», кабинет 312, Сорокин, Денис, расчёты, пельмени, тишина.

Ничего не изменилось — кроме одного: Кравцов встал, прошёл в ванную, посмотрел в зеркало — и потрогал левое предплечье. Уплотнение было на месте. Твёрдое, гладкое, с рисовое зерно. Не болело.

Кравцов оделся, позавтракал, вышел из квартиры. На остановке — четверо. Маршрутка — семь минут. Он сел на заднее сиденье, у окна. Проспект Славы, светофор, поворот. Серые дома, серое небо.

Всё — как всегда. Кроме одного: в кармане пиджака, ря-

дом с пропуском и ключами, лежала пустота. Не та, к которой он привык. Другая — с вопросом, на который нет ответа. И вопрос был не «что это за звук». Вопрос был — когда. Когда он вернётся.

Глава 3. Пульс 48

Ночь среды выдалась на редкость безмятежной — по крайней мере, так казалось Петербургу за окном. Дождь, который моросил весь день, наконец стих. Двор опустел. Даже редкие машины проезжали так тихо, будто боялись нарушить эту непривычную тишину. Кравцов лежал на спине, уставившись в потолок, где тусклый отсвет уличного фонаря рисовал дрожащий узор. Он не пытался уснуть — просто ждал, когда усталость возьмёт своё. И в этом ожидании было что-то новое: не пустота, а лёгкая настороженность, словно он прислушивался к чему-то далёкому, едва уловимому.

Он ждал звука.

И звук пришёл.

Не просто писк, как раньше. Теперь это был целый звуковой ландшафт — плотный, объёмный, пугающе реальный. Сначала — ровный, механический писк сердечного монитора, чёткий, как удары метронома. Он звучал не извне, а будто прямо в голове, заполняя собой всё пространство сознания. А следом — голоса. Женский, спокойный, профессионально отстранённый: «Пульс 48, давление падает». И тут же — мужской, такой же ровный, без паники: «Поднимите скорость капельницы».

Кравцов сел на кровати, резко, будто его дёрнули за плечо. Пот стекал по спине, липкий и холодный. В комнате бы-

ло темно, тихо, неподвижно — и в то же время казалось, что воздух вибрирует от этих чужих, далёких слов. Он провёл ладонью по лицу, пытаясь стереть ощущение реальности происходящего, но оно не исчезало. Голоса звучали не как воспоминание и не как сон. Они звучали как трансляция — будто кто-то включил радио, настроенное на чужую частоту.

«Пульс 48...» — фраза застряла в голове, повторяясь снова и снова, как застрявшая пластинка. Он смотрел на свои руки, на тёмные очертания мебели, на полоску света под дверью — и понимал, что всё это настоящее, его комната, его кровать. Но голоса — они были из другого мира. Из чужой палаты, чужого времени, чужой реальности.

Прошло тридцать, может, сорок секунд. И вдруг — тишина. Не та, к которой он привык, а оглушительная, звенящая, будто после мощного звука мир на мгновение замер, чтобы осознать, что произошло. Кравцов сидел, тяжело дыша, и прислушивался. Ни голосов, ни писка. Только его собственный пульс, гулко отдающийся в висках.

Он встал, включил свет. Комната выглядела как обычно: скучная, безликая, функциональная. Та самая, в которой он жил годами, не замечая её деталей. Сейчас же каждая деталь казалась подозрительной: слишком ровная тень от стула, слишком тихий ход часов, слишком неподвижный воздух. Кравцов подошёл к окну, отодвинул штору. Двор был пуст. Редкие фонари отбрасывали тусклый жёлтый свет на мокрый асфальт. Всё выглядело нормальным. Слишком нор-

мальным.

Вернувшись в кровать, он не стал гасить свет. Лежал, смотрел на потолок и думал о том, что только что услышал. Пульс 48. Давление падает. Капельница. Это были не случайные слова. Это был фрагмент чужой жизни, вырванный из контекста и брошенный ему в сознание. И самое страшное — он не мог понять, воспоминание это, галлюцинация или что-то третье, чему у него не было названия.

Утро наступило, как всегда, в 6:15. Будильник прозвенел ровно, без задержек. Кравцов открыл глаза, сел, опустил ноги на пол. Рутинa привычно обволакивала его, возвращая в привычное состояние «автопилота»: душ, чай, бутерброды, куртка, ключи, дверь. Но сегодня что-то было не так.

Это было в звуках.

В маршрутке 137, которая привычно тащилась по проспекту Славы, каждый звук вдруг стал отчётливым, почти осязаемым. Писк терминала, когда пассажир оплачивал картой, прозвучал так резко, что Кравцов невольно вздрогнул. Кашель женщины в середине салона отозвался в ушах гулким эхом. Гул двигателя, который он раньше не замечал, теперь казался мощным, почти угрожающим. Звуки не просто доносились до него — они врезались в сознание, оставляя след, как царапины на стекле.

Кравцов смотрел в окно, на серые дома, на мокрые тротуары, на людей, спешащих по своим делам, и чувствовал, что его слух изменился. Он будто стал тоньше, чувствитель-

нее, как антенна, настроенная на новую частоту. И эта частота была не городской — она была чужой.

На работе всё шло по плану: совещание, чертежи, расчёты, обед в столовой. Но даже здесь, в привычной обстановке, звуки казались иными. Голос Сорокина, который раньше звучал как фоновый шум, теперь был слишком чётким, слишком громким. Стук клавиатуры Дениса — ритмичный, навязчивый, будто отсчитывающий секунды. Даже скрип стула, когда Кравцов поворачивался к монитору, звучал неестественно громко.

В какой-то момент он поймал себя на том, что прислушивается не к словам, а к фону — к тому, что обычно остаётся за пределами внимания. И это пугало. Пугало не потому, что было страшно, а потому, что нарушало привычный порядок вещей. Он всегда жил в приглушённом мире, где звуки были фоном, а не содержанием. Теперь же фон стал главным.

Вечер наступил незаметно. Ужин — те же пельмени из пачки, телевизор — какой-то сериал, который он не смотрел, а просто слушал, чтобы заполнить тишину. Но тишина больше не была пустой. Она была наполнена ожиданием. Кравцов знал: звук вернётся. И он боялся этого — и в то же время хотел услышать его снова, чтобы понять, что происходит.

Когда вечер сменился ночью, Кравцов снова лежал в темноте, прислушиваясь к тишине. И звук пришёл — на этот раз дольше, почти минуту. Снова писк монитора, снова голоса. На этот раз женский голос произнёс: «Сатурация 89». И тут

— впервые — к звукам добавился запах. Резкий, спиртовой, с горьковатым оттенком антисептика. Он был настолько реальным, что Кравцов резко сел, оглядываясь по сторонам, будто ожидая увидеть источник запаха.

Но в комнате ничего не изменилось. Только запах. Он был здесь, в его квартире, и в то же время — откуда-то издалека. Кравцов встал, распахнул окно. Холодный ночной воздух ворвался в комнату, но запах не исчез. Он держался, въеда-ясь в ноздри, стойкий и неумолимый. Даже когда Кравцов закрыл окно и сел на кухне, запах оставался — как невиди-мый след чужого присутствия.

Два часа он сидел, вдыхая этот запах и пытаясь понять, откуда он взялся. Антисептик. Больница. Чужая палата. Слова «сатурация», «пульс», «капельница» складывались в единую картину — картину чьей-то борьбы за жизнь. И он, Кравцов, каким-то образом был к этому причастен.

На следующий день на работе Кравцов сидел в каби-не проектирования, склонившись над чертежом. Он должен был рисовать схему частотного контура гидролокатора — ту, которую они обсуждали с Сорокиным. Рука привычно води-ла карандашом по бумаге, вычерчивая линии, обозначая уз-лы, расставляя метки. Но в какой-то момент он остановился, не понимая, что рисует.

Перед ним была не схема гидролокатора. Это была си-стема трубок, разветвлений, соединений — что-то, подозри-тельно напоминающее схему инфузионной системы. Капель-

ница. Трубки, ведущие к игле, разветвления, клапаны, резервуар. Он рисовал это машинально, не задумываясь, будто рука знала, что делать, даже если голова этого не понимала.

Кравцов замер, глядя на рисунок. Потом резко зачеркнул все линии, превратив схему в тёмное пятно. Сердце колотилось где-то в горле, а в голове крутилась одна мысль: он не знал, как выглядит капельница. Он никогда не лежал в больнице, не видел таких систем вблизи. Откуда тогда он знал, как её рисовать?

Он скомкал лист, бросил в мусорную корзину и отвернулся к монитору. Но ощущение, что что-то внутри него изменилось, не проходило. Оно было тихим, но настойчивым, как тот самый писк, который теперь звучал не только ночью, но и в его сознании.

Вечером, когда он вернулся домой, запах антисептика всё ещё витал в воздухе — едва уловимый, но не исчезнувший до конца. Кравцов сел у окна, глядя на город, и понял: его жизнь больше не будет прежней. Что-то вошло в неё — тихое, настойчивое, пугающее. И оно не собиралось уходить.

Он смотрел на свои руки, на левое предплечье, где под кожей пряталось маленькое уплотнение — то самое, с рисовое зерно. Оно не болело, не мешало, просто было. Но теперь оно казалось ему чем-то большим, чем просто уплотнение. Оно казалось ключом — к чему-то, чего он пока не понимал.

Тишина в комнате стала другой. Она больше не была пустым пространством. Она была наполнена звуками, запаха-

ми, образами, которые приходили из ниоткуда и исчезали, оставляя после себя только вопросы. И главный вопрос, который Кравцов боялся задать даже самому себе, звучал так: что, если всё это — не его воображение? Что, если он действительно слышит чью-то чужую жизнь — и она становится его собственной?

Глава 4. Линолеум

Неделя тянулась, как неисправный конвейер: медленно, с частыми рывками и паузами, будто кто-то дёргал рубильник. Для Кравцова она стала не чередой дней, а чередой ночей — потому что именно ночью происходило то, что меняло всё. Звуки приходили теперь ежедневно. И он больше не пытался их игнорировать.

В первый же день после вспышки с капельницей он достал из ящика стола старый блокнот — тот, в котором когда-то записывал параметры тестовых сборок для гидролокатора. Теперь на его страницах появилась новая таблица. Дата. Время начала. Длительность. Что слышал. Что чувствовал. Что видел.

Первая запись была короткой и сухой, почти технической: «23.10, 02:17–02:21. Писк монитора. Женский голос: Пульс 48. Холод в левой руке. Длится 4 секунды».

Но уже к третьему дню записи становились длиннее, детальнее, будто он пытался ухватить ускользающий смысл. «25.10, 03:03–03:11. Женский голос: Сатурация 89. Запах спирта и хлорки. Ощущение давления на плечо — как будто манжета тонометра. Длится 8 секунд». «26.10, 02:49–02:58. Мужской голос: Скорость капельницы увеличить. Вижу край монитора, зелёные цифры. Не понимаю, что значат. Длится 9 секунд».

Через неделю у него сложилась картина. Все эпизоды приходились на промежуток между двумя и четырьмя часами ночи. Все случались, когда он лежал на левом боку. И если он переворачивался на спину или правый бок — звуки затухали за десять-пятнадцать секунд, словно теряли опору. Он проверил это трижды, намеренно меняя положение, и каждый раз эффект повторялся. Это было не случайностью. Это была закономерность — холодная, пугающая, как график аварии.

В середине недели к звукам прибавилось видение.

Кравцов проснулся не от писка, а от ощущения — будто его тело помнит то, чего он не знал. Он сел на кровати, не включая свет, и в темноте перед глазами вспыхнул образ: палата. Белый потолок с круглыми светильниками, свет которых не падал сверху, а словно исходил из самой поверхности. Пахло хлоркой и линолеумом — тем самым резким, въедливым запахом, который въедается в одежду и волосы. Он лежал на спине, левая рука примотана к доске, чтобы не дёргалась. В вену вставлена игла, от неё тянулась прозрачная трубка к капельнице. Рядом — монитор, на экране — ломаная линия кардиограммы.

Он видел каждую деталь. Цвет стен — бледно-зелёный, не больничный, а какой-то более мягкий, почти успокаивающий. На двери — табличка с цифрами: не арабскими, не римскими, не кириллицей. Что-то среднее, угловатое, с завитками. Он не мог их прочесть, но помнил форму. Текстура бинта на руке — не грубая марля, а что-то гладкое, почти

шёлковое, плотно облегающее кожу.

Видение длилось пять-шесть секунд. Потом рассыпалось, как картинка на сломанном телевизоре, оставляя после себя только запах — тот самый, который он уже чувствовал раньше. Кравцов сидел, вдыхая этот запах, и понимал: это не воспоминание. Он никогда не лежал в больнице так долго. У него не было ни одной серьёзной операции, ни одного случая, когда бы ему ставили капельницу. Аппендицит в двадцать лет — одна ночь, выписан на следующий день. Перелом запястья — амбулаторно. Удаление зуба мудрости — местная анестезия. Всё.

Но образ был слишком подробным, чтобы быть выдуманной.

На следующий день он решился на то, чего не делал три года: позвонил Ирине.

Телефон долго гудел, и Кравцов уже думал, что она не возьмёт трубку. Но на пятом гудке раздался её голос — спокойный, чуть отстранённый, как у человека, который привык отвечать на звонки по работе:

— Алло?

— Ира... Это Миша.

Пауза. Короткая, но достаточная, чтобы он успел пожалеть о звонке.

— Миша? Что-то случилось?

— Нет. Ничего. Просто... Слушай, ты помнишь, я когда-нибудь лежал в больнице? Ну, после аппендицита, на-

пример. Была ли палата такая... бледно-зелёная, с круглыми светильниками?

Ещё одна пауза. На этот раз длиннее.

— Ты что, пил? — спросила она наконец, и в её голосе не было злости, только усталость и лёгкое раздражение. — Миша, ты лежал одну ночь. Обычная палата, белые стены, кровать железная, тумбочка. Никаких круглых светильников. Что происходит?

— Прости, — сказал он быстро, чувствуя, как краснеет, хотя её не видел. — Забудь. Просто... показалось.

— Тебе бы к врачу сходить, — сказала она уже мягче, почти по-старому. — Ты нормально себя чувствуешь?

— Да, — соврал он. — Всё нормально. Прости, что позвонил.

Он нажал «отбой» и положил телефон на стол, будто тот стал тяжелее. Разговор не дал ответов. Он дал только подтверждение: той палаты не было. Значит, то, что он видел, не было его прошлым.

На работе Денис первым заметил, что с Кравцовым что-то не так.

Это случилось в четверг. Они сидели в кабине проектирования, обсуждали схему нового модуля. Денис говорил, Кравцов кивал, но в какой-то момент понял, что не слышит слов. Он смотрел на губы Дениса, на его жесты, на то, как он постукивает карандашом по столу, и думал о бледно-зелёных стенах.

— Михал Палыч? — Денис наклонился вперёд, заглядывая ему в глаза. — Вы меня слышите?

— Слышу, — ответил Кравцов, возвращаясь в реальность. — Прости. Задумался.

— Вы в последнее время часто задумываетесь, — сказал Денис без упрёка, скорее с беспокойством. — И рассеянными стали. Вчера пропустили совещание. Я зашёл в кабину — вы просто сидели и смотрели на свою руку.

Кравцов опустил взгляд на левое предплечье. Под кожей всё так же прощупывалось маленькое уплотнение. Он провёл по нему пальцем, будто проверяя, на месте ли оно.

— Рука ноет, — сказал он первое, что пришло в голову. — Немного.

Денис посмотрел на него ещё секунду, потом кивнул, будто принял объяснение, хотя и не поверил ему до конца.

— Сходите к терапевту, — посоветовал он. — Или хотя бы мазь какую-то купите. А то так и до грыжи недалеко, если мышцу тянет.

Кравцов снова кивнул, не собираясь ничего делать.

Вечером он вернулся домой и сел у окна, глядя на серый двор, на редкие огни в окнах соседних домов. В голове крутились слова: «пульс 48», «сатурация 89», «увеличить скорость». Они звучали как код, который он должен расшифровать, но не знал, как.

Когда наступила ночь, он не стал ложиться сразу. Он сел на кровать, положил блокнот рядом, взял ручку и пригото-

вился записывать. Он ждал звука. И звук пришёл.

На этот раз он не только слышал и чувствовал — он видел палату целиком. Он видел номер на двери — те самые странные цифры, которые не мог прочесть. Видел текстуру бинта. Видел, как медсестра поправляет трубку капельницы, и как от её перчаток идёт едва заметный блеск — не латекс, а что-то другое.

И в этот момент он понял одну вещь, от которой у него похолодели руки: палата была настоящей. Не его воспоминанием. Не сном. Она существовала где-то. И кто-то в ней умирал или боролся за жизнь, а он, Кравцов, каким-то образом видел это.

Вспышка закончилась. Тишина вернулась, но уже не была пустой. Она была наполнена чужими голосами, чужими запахами, чужими стенами. Кравцов записал всё, что успел запомнить, стараясь не упустить ни одной детали. Потом закрыл блокнот и положил его под подушку.

Он не знал, что делать дальше. Но знал одно: он больше не мог делать вид, что ничего не происходит.

Глава 5. Не было

В субботу утром Кравцов сделал то, чего не делал никогда: сел за кухонный стол с листом бумаги и ручкой и начал вспоминать.

Не звуки. Не запахи. Себя.

Он начал с рождения — Тверь, 1982 год, роддом номер два, нормальные роды, мать — Раиса Петровна, отец — Па-

вел Сергеевич, оба здоровы. Дальше — детство: ветрянка в шесть лет, дома, три дня температуры, мама мазала зелёной. ОРВИ — каждый год, осенью, дома, чай с малиной, постельный режим. Прививки — в поликлинике на улице Советской, обычный календарь, без осложнений.

Школа. Травмы: рассечение подбородка в восемь лет — упал на ледяной горке, зашили амбулаторно, три шва, домой в тот же день. Перелом ключицы в десять — хоккей во дворе, гипс на три недели, опять же амбулаторно. Сотрясение в тринадцать — драка в школе, потерял сознание на минуту, в больнице пробыл полдня, отпустили с рекомендацией «побыть дома неделю».

Дальше — институт. Здоров. Спортивная секция — волейбол, без травм. Армия — не служил, плоскостопие, категория В, ограниченно годен.

После института — работа. Аппендицит в двадцать. Острая боль ночью, «скорая», операция, общая анестезия, одна ночь в палате, утром — выписка. Он помнил: палата обычная, двухместная, сосед — пожилой мужчина с грыжей, храпел. Стены белые, окнана улицу, никаких круглых светильников. Никакой капельницы после первой ночи — только уколы анальгина в ягодичу, два раза в день. Выписался на третий день, швы снимали в поликлинике.

Перелом запястья в тридцать — упал с лестницы на даче у приятеля, гипс, амбулаторно. Рентген в травмпункте, фиксация, домой. Никакого стационара.

Удаление зуба мудрости — в тридцать пять, стоматологическая клиника на Невском, местная анестезия, двадцать минут, домой.

Кравцов перечитал список. Всё. Ни одного эпизода стационара. Ни одной капельницы. Ни одного реанимационного оборудования. Ни одного монитора, пищущего у его кровати. Ни одной палаты с бледно-зелёными стенами.

Он положил ручку. Посмотрел на лист — аккуратный, пронумерованный, написанный ровным техническим почерком, как спецификация к чертежу. Вся его медицинская история — на одной странице. Четырнадцать строк. Ни одного упоминания о том, что он видел, слышал и чувствовал в последние недели.

Логика была проста: если это воспоминание, оно должно иметь источник. Воспоминание не берётся из ниоткуда. Оно берётся из опыта. Если опыта нет — воспоминание невозможно. Значит, то, что он переживает, — не воспоминание. Но что тогда?

Кравцов не любил вопросы без ответов. Вопрос без ответа — это как схема с недостающим звеном: она не работает, и ты не знаешь почему. Он всегда решал такие задачи методом исключения: убирал всё невозможное, пока не оставалось единственное — даже если невероятное — решение. Но сейчас метод исключения буксовал. Он убрал воспоминание. Что осталось? Галлюцинация? Опухоль? Что-то ещё?

Он отодвинул лист, встал, прошёлся по кухне. Три шага

туда, три обратно — больше не позволяли размеры. В холодильнике гудел компрессор, ровно и успокаивающе. Кравцов остановился, посмотрел на свой левый локоть — там, под рукавом, пряталось уплотнение. Он потрогал его через ткань. На месте. Не болит. Не растёт. Просто есть.

Кравцов сел обратно, взял телефон. Набрал мамин номер.

Раиса Петровна взяла трубку на втором гудке — она всегда брала быстро, будто боялась, что абонент передумает.

— Мишенька! — Голос живой, тёплый, с той особой интонацией, которая бывает только у матерей, разговаривающих с единственным сыном. — Ты как? Давно не звонил. Я уж думала — забыл мать.

— Мам, я звонил две недели назад.

— Две недели — это давно, Миша. Для матери две недели — это вечность. Ты ешь нормально? Ты один? Ты не заболел?

— Мам, — Кравцов перебил, прежде как она успела разогнаться. — У меня вопрос. Простой. Я в детстве не лежал в больнице?

Пауза. Не та, короткая, когда человек собирает слова, а длинная, когда человек вспоминает.

— В больнице? — переспросила Раиса Петровна. — Нет, Миша, не лежал. Ты здоровый был, слава богу. Ветрянкой болел — дома. ОРВИ — дома. Прививки — в поликлинике, но это не больница. А что?

— Никаких стационаров? Ни одной ночи?

— Ни одной. Ну, разве что... — она замялась, — сотрясение, когда ты в школе подрался. Но ты тогда полдня пробыл, не ночь. Тебя осмотрели, сделали рентген, отпустили. Я с тобой была.

— А капельницы? Мне когда-нибудь ставили капельницу?

— Капельницу? — Раиса Петровна удивилась. — Нет. Тебе? Никогда. Миша, что случилось? Ты болен?

— Нет, мам. Я просто проверяю.

— Проверяешь? Что проверяешь? Миша, ты меня пугаешь. Что значит — проверяешь? У тебя что-то с головой?

— Нет, мам. Всё нормально. Не волнуйся.

— Я мать, Миша. Я не могу не волноваться. Это моя работа.

Кравцов помолчал. Мать — единственный человек, с которым он не мог говорить коротко. Не потому что она не понимала, а потому что каждое его слово она разворачивала, как свёрток, ища внутри то, чего там не было.

— Мам, я серьёзно. Просто уточняю медицинскую историю. Для себя. Я здоров.

— Ты не звучишь как здоровый, — сказала она с тем материнским радаром, который не берёт ни расстояний, ни времени. — Ты звучишь как человек, который чего-то не договаривает.

— Мам. Всё хорошо. Я позвоню на следующей неделе.

— Обещай.

— Обещаю.

Он повесил трубку. Сел. Посмотрел на лист с медицинским списком. Подтверждено: не было. Ни маминой памятью, ни его собственной. Ни одной капельницы, ни одного монитора, ни одной бледно-зелёной палаты. Спецификация полная, и в ней нет ни одной детали, которая объяснила бы то, что он переживает.

Значит, источник — не в его прошлом.

В понедельник Кравцов отпросился с работы на два часа. Сорокин посмотрел на него поверх очков — впервые за все годы Кравцов просил отгул. Не на день, не на полдня — на два часа. Сорокин хотел что-то спросить, но Кравцов уже вышел из кабинета.

Районная поликлиника 47 — на Бухарестской, десять минут пешком. Кравцов взял талон к терапевту в окне регистратуры. Очередь — сорок минут. Он сидел на скамье в коридоре, среди бабушек с пакетами и молодых мам с детьми, и единственный, кто не кашлял, не стонал и не разговаривал по телефону. Ждал.

Кабинет 204. **Людмила Фёдоровна Дроздова**, терапевт. Женщина под пятьдесят, коротко стриженная, в очках на цепочке, с лицом, на котором усталость отпечаталась так глубоко, что стала частью черт. Она работала в этой поликлинике двадцать лет и видела всё: от симулянтов до онкологии. Она смотрела на пациентов с тем профессиональным равнодушием, которое врачи надевают, как перчатки, — чтобы не сойти с ума от чужой боли.

— По какому вопросу? — спросила она, не поднимая глаз от монитора.

— У меня... — Кравцов замялся. Он не знал, как сказать. Не потому что стеснялся — а потому что не имел слов. Он никогда не описывал то, что чувствует. Не было нужды. Теперь — была.

— Я слышу звуки, — сказал он.

Дроздова подняла глаза.

— Какие звуки?

— Ночью. Когда лежу. Писк монитора. Голоса. Женский, мужской. Они говорят: «пульс сорок восемь», «сатурация восемьдесят девять». Такого рода.

Дроздова сняла очки, протёрла их краем халата, надела обратно. Жест, который у неё, видимо, означал «внимательно слушаю».

— Голоса. Как во сне или наяву?

— Наяву. Я не сплю. Я лежу, и они приходят. Иногда — запах. Антисептик, спиртовой. И образы. Я вижу палату. Не нашу больницу — другую. Стены бледно-зелёные, светильники круглые, мониторы. Я лежу на спине, у меня в руке игла от капельницы.

— Вы когда-нибудь лежали в больнице? С капельницей?

— Нет. Я проверил. Никогда.

Дроздова посмотрела на него — не с недоверием, а с тем выражением, которое означает «я уже слышала такое, и обычно это кончается направлением к неврологу».

— Ещё что-нибудь? Физические ощущения?

— Да. Холод в вене. Давление на плечо — как манжета тонометра. Иногда — пот, как при лихорадке. И... — он помедлил. — У меня уплотнение. На левом предплечье. Маленькое, с рисовое зерно. Не болит.

Дроздова жестом попросила его показать. Кравцов закатал рукав, протянул руку. Она пощупала — быстро, уверенно, как щупают все терапевты: указательным и средним пальцами, слегка надавливая.

— Жировик, — сказала она. — Липома. Безболезненная, подвижная. Это не страшно, к хирургу, если беспокоит. Но голоса и запахи — это другое. Это к неврологу.

Она написала направление. Кравцов смотрел, как её рука выводит знакомые строчки: «Жалобы на слуховые и обонятельные галлюцинации, ночного характера. Направление к неврологу. ЭЭГ».

— Это не галлюцинации, — сказал он.

Дроздова подняла бровь.

— Я не могу поставить диагноз за две минуты, — сказала она ровно. — Но то, что вы описываете — слуховые, обонятельные и зрительные ощущения, которые возникают без внешнего стимула, — в моей практике называются галлюцинациями. Это не значит, что вы сумасшедший. Это значит, что нужно разобраться. Сначала — невролог. Потом — ЭЭГ. Если всё чисто — МРТ.

— Я хочу МРТ.

— МРТ — по показаниям. Сначала ЭЭГ.

— Я понимаю. Но я хочу МРТ.

Дроздова вздохнула. Она видела таких пациентов — вежливых, настойчивых, спокойных. Они не кричали, не требовали, не угрожали. Они просто стояли на своём, как скала, о которую бьётся волна.

— Хорошо, — она написала ещё одно направление. — Невролог, ЭЭГ, МРТ. Но МРТ — по очереди. Запись через...

— Сколько?

— Три недели. Иногда — четыре.

Кравцов взял направления, сложил, убрал в карман. Поблагодарил. Вышел. В коридоре — та же очередь, те же бабушки, те же дети. Он прошёл мимо, и никто не посмотрел на него, и он не посмотрел ни на кого. Один человек среди людей, который слышит то, чего нет. Или есть — но не здесь.

Невролога он прошёл через два дня. Кабинет 308, мужчина лет сорока, худой, бородатый, с глазами, которые смотрели сквозь пациента, как рентген — не видя, а сканируя. Кравцов рассказывал — он повторил то же, что Дроздовой. Невролог слушал, кивал, стучал молоточком, проверял рефлексы, смотрел в глаза фонариком, просил закрыть глаза и дотронуться до носа указательным пальцем. Всё — в пределах нормы.

— Неврологический статус — без патологий, — сказал он, записывая. — Рефлексы симметричные, координация со-

хранена, черепные нервы — норма. ЭЭГ назначена?

— Да. Послезавтра.

— Хорошо. После ЭЭГ — ко мне. Если ЭЭГ чистая — будем думать дальше.

— Мне нужно МРТ, — сказал Кравцов.

— МРТ — после ЭЭГ. По показаниям.

Те же слова. Та же очередь. Та же система, которая работает так, как работает: медленно, по шагам, не пропуская ни одного. Кравцов не спорил. Он знал, что спорить с системой — как спорить с погодой. Бесполезно и утомительно. Он ждал.

ЭЭГ прошла в четверг. Кравцов сидел в кресле, с электродами на голове, с закрытыми глазами, и выполнял команды лаборантки: «откройте глаза, закройте, не двигайтесь, дышите глубже». Двадцать минут. Он лежал спокойно, и в голове у него было пусто — та самая пустота, которую он ценил. Никаких звуков, никаких образов. Только гул аппарата и голос лаборантки.

Результат — через день. Заключение: «ЭЭГ — без существенных изменений. Биоэлектрическая активность мозга в пределах возрастной нормы. Очаговой и пароксизмальной активности не выявлено».

Норма. Всё — норма. Кравцов держал лист с заключением и не знал, злиться ему или радоваться. Норма — значит, нет опухоли, нет эпилепсии, нет явного повреждения мозга. Норма — значит, никто не знает, что с ним происходит.

Норма — значит, он один.

Невролог посмотрел заключение, кивнул: «Чисто. МРТ я вам выпишу, но запись — через три недели, как и говорили. Пока — наблюдение. Если что-то изменится — обращайтесь».

Три недели. Кравцов сложил направление в карман, рядом с остальными бумагами, и вышел из поликлиники. Был серый октябрьский день, мелкий дождь, ветер с Невы. Люди шли, подняв воротники, опутив головы. Кравцов стоял на крыльце и смотрел на них, и думал: каждый из них идёт куда-то, к кому-то, зачем-то. У каждого — своя траектория, своя точка на карте, своя палата, в которой он лежит. Только они об этом не знают. А он — знает. Или не знает, но слышит.

В ту ночь всё изменилось.

Кравцов лёг в два. Не потому что устал — потому что ждал. Он ждал с тем странным, незнакомым терпением, которое появилось у него в последние недели, как новая мышца, о существовании которой он не подозревал. Лежал на левом боку — всегда левом, потому что вспышки приходили только так. Блокнот и ручка — на тумбочке. Часы — перед глазами. 2:03. 2:14. 2:28. 2:35.

2:41.

Писк.

Но не тот, что раньше. Не просто писк — целый звуковой мир. Монитор, ровный, как метроном, и к нему — но-

вый звук: шипение. Воздух через трубку. Кислород. Рядом — ровный, низкий гул аппаратуры, не нашего, не знакомого, как генератор на частоте, которую Кравцов не мог определить.

И запах. Резкий, мгновенный, плотный. Не спирт — что-то другое. Что-то среднее между антисептиком и озоном, как после грозы в больничном коридоре. Запах заполнил комнату за секунду, и Кравцов понял: это не воспоминание, потому что воспоминание не пахнет так сильно. Память о запахе — это тень, а это — сам запах, живой, присутствующий,###
##. Здесь. Сейчас.

Он не открыл глаза. Зачем? То, что он видел, было не сна-ружи.

Палата. Та же — бледно-зелёные стены, круглые светильники, монитор с кардиограммой. Но теперь — больше деталей. Он видел потолок: не белый, а сероватый, с лёгким свечением, как будто свет шёл из самого материала, а не из ламп. Стены — гладкие, без швов, без углов, как будто вылитые из одного куска. И запах — от стен. Они пахли тем самым — озоном и антисептиком, как живой материал, который дышит.

Он лежал на спине. Руки — вдоль тела. Левая — примотана к доске, игла в вене, трубка вверх, к прозрачному пакету с жидкостью. Но теперь он чувствовал и правую руку — на ней тоже что-то было, не игла, а что-то плоское, холодное, с проводами. Электроды? Не те, что на ЭЭГ — другие, тонь-

ше, плотнее.

И тело. Он чувствовал тело — не своё, но чужое, и одновременно своё. Холод в левой руке — от капельницы, жидкость шла комнатной температуры, и вена ноющего холода поднималась от запястья к локтю, к плечу. Давление на правое плечо — манжета тонометра, плотная, сдавливающая, накачанная. И чьи-то руки — на груди. Не тяжёлые, аккуратные. Поправляли что-то — провода, электроды, ткань. Прикосновение профессиональное, безличное, как у медсестры, которая делает это в тысячный раз и уже не думает, а просто делает.

И голос.

Мужской. Молодой. Тихий — но не далёкий, а близкий, как будто говорящий стоял рядом, у самого уха. Слова — на незнакомом языке. Не английский — Кравцов знал английский, технический, но достаточно, чтобы отличить. Не немецкий — он слышал немецкий в фильмах, этот звучал иначе. Не финский, не шведский, не эстонский — он жил в Петербурге и различал северные языки хотя бы по ритму. Этот — другой. Ритм — ровный, как у медицинской речи: фразы короткие, с паузами, как команды. Интонация — спокойная, профессиональная. Врач говорит медсестре. Голос не напряжён — значит, кризис миновал. Или его нет. Просто — routine. Обход. Проверка.

Кравцов не понимал ни слова. Но понимал — интонацией, темпом, тоном: всё под контролем. Кто бы это ни говорил

— он знал, что делает.

Вспышка длилась. Не секунды, не минуты — полторы минуты. Девяносто секунд, каждый из которых Кравцов проживал с той ясностью, которая бывает только в реальности. Во сне нет ясности — сон мутный, расплывчатый, с провалами. Это было — как бодрствование. Только не его.

Он чувствовал холод в вене. Давление манжеты. Чужие руки на груди. Запах стен. Шипение кислорода. Писк монитора. Голос. Всё одновременно, всё — реально, всё — не его.

И вдруг — новая деталь. Та, которой не было раньше. На экране монитора, рядом с кардиограммой, — цифры. Не наши. Те же угловатые знаки, что и на табличке двери, но среди них — одно, которое он узнал. «48». Пульс 48. Та же цифра, что и в первом голосе. «Пульс 48». Число — универсальное, оно одинаково на любом языке. 48 ударов в минуту. Низкий пульс. Брадикардия. Для человека — низкий. Для того, чьё тело он чувствовал, — может, норма.

Вспышка оборвалась. Не постепенно, как раньше, а резко — как будто выключили. Тишина. Темнота. Его комната, его кровать, его левый бок. Пот на спине, на лбу, под мышками. Сердце — колотится, быстро, слишком быстро для человека, который лежит. Кравцов сел. Включил свет. 2:43. Полторы минуты. Девяносто секунд из чужой жизни.

Он встал, прошёл на кухню, включил свет, сел на единственный стул. Запах — исчез. Не сразу — постепенно, как туман, который рассеивается. Но ощущение — осталось. Хо-

лод в вене, давление на плечо, руки на груди. Тело помнило то, чего не было.

Кравцов посмотрел на свои руки. Обе — его. Пять пальцев на каждой. Кожа — обычная, розоватая, с лёгким заггаром от сентябрьского солнца, которого уже не было. Вены — под кожей, синеватые, обычные. Никакой иглы. Никакой капельницы. Никакого бинта.

Он налил воды из-под крана, выпил. Вода — холодная, петербургская, с лёгким привкусом железа. Реальная. Его. Здесь.

Кравцов поставил стакан, посмотрел на часы. 2:51. За окном — тёмный двор, тёмные окна, редкий фонарь. Тишина. Городская — та, в которой шум вокруг, а ты его не слышишь. Только сейчас он слышал. Слышал то, чего не было — в его квартире, в его городе, в его жизни.

Он достал блокнот, открыл на новой странице, написал:
«29.10, 2:41–2:43. 90 сек. Палата: стены светятся, запах озон+антисептик. Капельница в левую вену. Электроды на правой руке. Манжета на правом плече. Чужие руки на груди. Голос — мужской, молодой, незнакомый язык. Спокойный тон. Цифры на мониторе — не наши, но 48 — пульс. Ощущения: холод в вене, давление на плечо, пот. Реальность — полная, как бодрствование».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.